

ДВА РАССКАЗА

ДЕВУШКА И СМЕРТЬ

Вместе с жарой и пылью началась всеобщая расслабуха, а на этот раз не явился и тренер. Поэтому Олег с Сергеем Качурой, по прозвищу Кача, разминались вдвоём в целом зале. Кача, ставши на мост, качал шею, и без того игравшую, казалось, какими-то даже неизвестными мышцами. Впрочем, среди пацанов было доподлинно известно, что у чемпиона мира Альберта Азаряна от усиленных занятий на кольцах развились новые мышцы, которые бывают только у обезьян.

Олег жал двухпудовую гирию, стараясь дойти до пятнадцати раз. Класе, наверно, в третьем Васька Душенин похвастался, что его брат пятнадцать раз жмёт двухпудовку, и вот эти пятнадцать раз, оказывается, стали для Олега эталоном силы. Он сколько угодно мог бы над этим насмешничать, сравнивая, например, Васькиного брата с Юрием Власовым или хоть с тем же Качей, но всё равно – четырнадцать раз не принесли бы ему и сотой доли удовлетворения по сравнению с пятнадцатью: собственное мнение никогда не может быть таким авторитетным, как чужое.

Олег бы лопнул, но дошёл до пятнадцати, но где-то к десятому разу начала исчезать рука. А никакая сила воли не может заставить трудиться то, чего нет. Олег мял бицепс, убеждаясь, что он всё-таки есть, а Кача отжимался на руках. Спина у него походила на туго обитую дерматином государственную дверь – везде вздувается, где не прихвачено гвоздями.

В груди Олега, когда он смотрит на Качу, начинает наливаться теплом какая-то электрическая лампочка – благодарность Каче за то, что он такой, какой он есть. По общественному положению он что-нибудь на уровне замминистра – все блатные здороваются с ним чрезвычайно почтительно, – здесь же, в зале, он и вообще король, а держится почти застенчиво, смущённо улыбается, как будто не он тебе делает честь своим разговором, а ты ему. Когда он на тебе отрабатывает броски, чувствуешь себя как у Христа за пазухой, – обязательно подстрахует. А многие ведь, наоборот, радуются, что во время отработки не имеешь права сопротивляться, и норовят так припечатать тебя к ковру, что хочешь не вставать часика полтора, – а они стоят над тобой, отставив ногу и горделиво глядя вдаль.

Кача, чтобы вспотеть, начинает лупить тяжеленный боксёрский мешок. Мешок тяжело содрогается, и на нём медленно затягиваются страшные вмятины. Олег невольно представляет себя на месте мешка – брр...

После тренировки Кача окидывает взглядом спортзал и видит непорядок: гирия не на месте. Он несёт её без усилия, словно котёнка за шиворот. А Олегу и в голову не пришло побеспокоиться...

Интересно: при других Олегу хочется показаться более бывалым, чем он есть, даже приклатнённым, – а при Каче, наоборот, становится всего этого неловко. Он даже с удовольствием называл бы Качу не Качей, а Сергеем, только это тоже было бы ломаньем.

А потом, вдыхая волшебный запах борцовского пота, Олег любовался, как Кача бренчит многососковым жестяным корытом ручной мойки, – ни у одного греческого бога не было этого сочетания стройности и мощи.

За Качей зашёл незнакомый парень с подбритыми в пилку от лобзика чернявыми усиками над румяными губками, сложенными, как у kota на коврик, с личиком не то красивым, не то ничтожным.

– Андрюха, – залихватски представился он и, словно на ярмарке, огрел Олега по ладони. С гордостью показал на Качу: – В одной шараге слесарим.

– Выпьешь с нами? – спросил Кача, будто и не подозревая, о какой чести идёт речь. А может, и правда не подозревая: для него ведь все люди равны.

– Само собой, – пожал плечами Олег. Пить ему приходилось в основном на семейных праздниках по полрюмки сладкого вина, которую мать пыталась перехватить у отца на пути к Олегу, а Олег сверкал на неё глазами и не кричал «что я, маленький?!» лишь потому, что так кричат только маленькие.

На улице Олег вдруг увидел мир с новой для себя жадностью и внутренне ахнул: «Неужели я это всё забуду?..» Взгляд его упал на влажный отпечаток велосипедного колеса: через равные промежутки длинные рубчатые дыньки отпечатывались всё слабее и слабее. И через годы и годы этот отпечаток въяве вставал перед его глазами, стоило ему захотеть.

Андрюха так затараторил с продавщицей винного отдела, что она забыла выпустить бутылку «Московской»; они держались за «Московскую» через прилавок, будто за руки, и она глядела на него особенным, ласково-вкрадчивым взглядом. И у Олега сжалось сердце – на него-то никто так не станет смотреть...

Он покосился на Качу. Кача снисходительно усмехнулся, как если бы Андрюха посреди магазина ни с того ни с сего пустился в пляс. У Олега отлегло от души: оказывается, можно считать, что Андрюха вовсе и не ухарствует, а наоборот – смешит людей. Как это Кача всегда находит правильный взгляд на вещи!

Зато продавщица карамелек не поддавалась Андрюхиным чарам, за что и пострадала. Андрюха поинтересовался, как бы между прочим:

– Да, девушка, конфеты «Ласточка» у вас есть?

– Вы что, сами не видите?

– А трусов нет?

– Откуда? – возрилась она.

– Из универмага. Возьмите хоть дешёвенькие.

– Не будет рожу воротить, – на улице прокомментировал Андрюха. – Знаете, есть ещё такая покупка: девушка, у вас какие волосы? А на голове?

Олег криво усмехнулся, не зная, как в таких случаях положено реагировать.

– Не цепляйся – не будет воротить, – резонно заметил Кача.

Что бы Олегу самому догадаться!

Они протиснулись в городской парк между толстенными прутьями ограды, ржаво-полированными поколениями пролезавших, разогнутыми в незапамятные времена неведомыми богатырями прошлого, каких в наше хилое время уже не сыщешь. По истоптанной пыльной тропке забралась в дохлые кустики акации, где и уселась среди серебристой полыни, в которой ещё дохлые стрекотали кузнечики, словно целая часовая мастерская. Об эти акации те же поколения открывали бутылки, и многие раны ещё не затянулись. А затянувшиеся обвели себя по краям выпуклым колечком, середина же волокнисто серела, будто голая кость. Сквозь кусты просвечивала нагая гипсовая женщина, прижимающая к животу пойманную рыбу, которую Олег долгое время принимал за мочалку. За женщиной вялым рыбьим зевком зияла эстрада для художественной самодеятельности. На правой её стороне низко и как-то траурно свисал длинный флаг. Слева молодой человек, стройный, как раскрытые ножницы, возвещал с плаката, сияя треугольной улыбкой: «Самодеятельность – лучший отдых!»

Перед бутылкой Олег собрался, как перед штангой, но выпилось неожиданно легко, будто вода, – и с какой-то подозрительной слащавостью. Удалось даже не поморщиться.

– Как вы только её пьете, – сокрушённо сказал Кача и после своей дозы выдохнул с силой паровоза, а потом сморщился, будто от изжоги. И опять это вышло у него как-то достойнее, чем у Олега. Ведь сколько уже раз убеждался, что лучше не ломаться...

Андрюха выпил как-то наспех и поскорее перешёл к главному – мужской беседе. Олег не верил своему счастью: да он ли это сидит в этих исторических кустиках с настоящими взрослыми парнями!

– Ты сколько баб попробовал? – потребовал Андрюха у Качи.

– Кончай, – отмахнулся Кача: как, мол, только самому не надоело.

– А я штук тридцать перепробовал за свою жизнь короткую, – довольно закончил Андрюха. Он вопросительно посмотрел на Олега, пытаясь найти в нём более благодарного слушателя, – и нашёл.

Это дело в последнее время стало для Олега чрезвычайно актуальным, – брало не столько, может быть, остротой, сколько неотступностью: стоило хоть минуту посидеть спокойно – и привязывалось. Вот и сейчас ему было трудно отвести взгляд даже от этой дурацкой бабенции с рыбой-мочалкой.

Но ни к одной реальной женщине он ничего подобного не испытывал. Образ, донимавший его по ночам, как будто не имел лица – зато остального было через край. Но в присутствии любой реальной женщины всё это улетучивалось без следа, пряталось за какие-то барьеры – у живых женщин он видел именно лицо, глаза, слышал их слова – а остального просто не существовало. Да он бы со стыда сгорел, если бы в присутствии настоящей женщины подумал о чём-нибудь в этом роде.

– Что естественно, то не безобразно, – приговаривал Андрюха, и видно было, что это для него не противовес каким-то другим мнениям, а единственная известная ему истина. И от первозданной свободы, с которой Андрюха говорил об этих делах, в самом Олеге тоже начинали таять какие-то ледяные барьеры. А ведь это очень приятно – узнавать, что чего-то в себе, оказывается, можно вовсе не стыдиться.

Женщин Андрюха называл просто *они*.

– Ты запомни, – настаивал Андрюха, – *они* сами хотят.

Вместе с тем надо было всё-таки *не зевать* – как на охоте: вовремя подставить ножку, перехватить руку (прямо спортивная борьба!), выключить свет, нажать на нужную кнопку незамысловатого пускового механизма: если баба *не даёт*, поверни ее за левую сиську. Однако в этих отношениях охотника и дичи для женщин не было ничего оскорбительного, а только приятное – они сами с чрезвычайной простотой занимались этим в самых, казалось бы, неподходящих местах: и здесь, под кустиками, и под танцплощадкой, и вон там, возле сортира.

– Дружинники ему тычут в спину, – хохотал Андрюха, – а она отмахивается: не мешайте, пускай кончит!

Такого чувства освобождённости Олег, кажется, не испытывал ни разу в жизни. А ещё болтают, что эти отношения могут быть чистыми, а могут – грязными! Ну, люди! – делают одно и то же, а всё равно своё норовят обозвать получше, а чужое похуже. Нет на свете никакой грязи, просто когда делаю я – это чистота, делает другой – грязь. Вот и весь секрет.

Олег с гордостью чувствовал, что несколько не опьянел, – наоборот, никогда он не ощущал такой лёгкости, ясности, уверенности.

Небо начало по-вечернему темнеть, проклюнулись первые звёздочки, будто наколотые шильцем в какой-то мир безбрежного света. Засветился фонарь, как

светятся сигнальные лампочки на приборах – пока ещё ничего не освещая, а будто стараясь привлечь к себе внимание, показать, как он умеет.

В атмосфере беседы почувствовалась некая исчерпанность. Надо было либо расхотиться, либо добавлять. За добавкой пошли мимо танцплощадки, вокруг которой уже толпились завсегдатаи, скрывающие радостное возбуждение, оттого что запросто явились в столь небезопасное место, готовые уважать и окружающих героев и потому называющие друг друга очень ласково – Толик, Шурик... Однако каждый всё-таки понимал, что повысить своё достоинство здесь можно только за чей-то счёт, – поэтому все были настороже. Амбиции тут были натянуты очень туго. Что ж, для многих здесь их положение на танцах было единственным, за что они могли себя уважать.

Впервые в жизни, проходя здесь, Олег не испытывал ни малейшего напряжения: если Кача с тобой поддал – ты в безопасности за его каменной спиной. Кача потрясающе верный товарищ.

За высоченной противозайцевой оградой танцплощадки ударил духовой оркестр, из-за кое-каких новинок переименованный в эстрадный, но всё же сохранивший некое расстроенное величие – глухое уханье барабана, грозный дребезг медных тарелок, надтреснуто-траурное пение труб. Впрочем, это понимали все, и эстрадные оркестранты приглашались на похороны ничуть не реже, чем раньше, и, бывало, отдудев, как они выражались, жмура, прямо от гробового входа отправлялись на танцы, где играла младая жизнь.

Оркестр набрал разгон, и мужской голос закричал в микрофон: «Джямаяаякя!» – из Робертино Лоретти. Голос через репродукторы, с многократным эхом, звучал, как в вокзальных объявлениях. Певец отличался от любого непевца лишь тем, что считал возможным при таких вокальных данных брать с публики деньги.

Танцы начались. Но этого, казалось, никто не заметил. По площадке закружились одни девицы, разноцветным мельканием сквозь щели напоминая карусель. Мужчине разрешалось завернуть туда как бы невзначай и лишь тогда, когда толкота там будет уже в разгаре. Началось взаимное пересичивание. Оживлённые стали еще оживлённее, безразличные – еще безразличнее.

Компании не замечали друг друга с удвоенным упорством.

Сообразившие на троих друзья гордо прошли сквозь мельтешение белых и красных рубашек, среди которых далеко не все были так сообразительны.

Когда они шли обратно с литой бутылкой «Вермута», которую Андрюха назвал «огнетушителем вермути», чем окончательно обворожил продавщицу, Олег ощутил внезапный холод под ложечкой: он встретился глазами с Идолом. Собственно, Идолом его называла мать, когда орала на него на весь квартал, а вообще не стоило так называть его в глаза. Кача-то, конечно, мог себе это позволить, но он никого не звал по кличке, если это тому не нравилось.

В сущности, в глазах Идола не светилось ничего страшного, – наоборот, он тщательно следил, чтобы во взгляде его не было ничего живого, – но, вероятно, всегда страшен взгляд человека, для которого не существует никаких барьеров, кроме тех, о которые взаправду можно расшибить нос.

Идол с Качей жили по соседству друг с другом (и с Олегом), оба с незапамятных времён без отцов, у обоих матери уборщицы в одной и той же школе, только Качина мать всех называет сыночками, а Идолова всё время на каком-то надрыве, норовит замахнуться тряпкой. Один глаз у нее вставной, и когда она орёт и замахивается, он безнадежно смотрит в небо, как бы выдавая истинное состояние её души. Может быть, поэтому она дома ходила с пустой глазницей.

И то сказать, что и жизни у неё с Качиной матерью очень разные, – Кача вон и зарабатывает, и за водой бегаёт вместо ведер с флягами литров по тридцать, а Идол только «пьёт из неё кровь». Кача с матерью хотя живут тоже не бог весть в каком домишке, но где надо побелено, где надо покрашено – даже уютно. А

Идолова халупа блиндажом выдавливается из земли, вся обтекаемая, как батискаф, из-за многочисленных обмазок глиной, а на плоской крыше разбросаны куски шифера и толя, придавленного обломками кирпичей. Кача всё это перекрыл бы в два счёта.

А Идол с утра отправляется на школьный двор и тщательно выбирает обломок штакетины – без сучков, а потом целый день складным ножом с рукояткой в форме бегущей лисички тщательно выстругивает грузинский кинжал. Он ювелирно отделяет грани и поднимает голову, только когда кто-нибудь проходит мимо. И все, встречаясь с его удивительно спокойным взглядом, отводят глаза. Олег, когда надо бывало бежать за водой, всегда с неудовольствием вспоминал, что придётся пройти мимо Идола. С виду Идол его не замечал, но у Олега росло неприятное предчувствие, что Идол уже давно его приметил.

– Хоть бы за водой сходил... идол! – с безнадёжной остервенелостью кричит из-за ограды мать.

– Иди в ж..., косая падла, – всё-таки вполголоса отвечает Идол и внимательно смотрит вдоль лезвия кинжала.

Однако у Олега всегда такое чувство, что мать тоже не совсем права, что сразу обзывает его идолом, не дожидаясь, пока он откажется. Даже Идолу нужно оставить возможность выбора, быть Идолом или человеком.

Когда же из парка доносится лягз и буханье оркестра с «Джямйкой», Идол старательно расщепляет доведенный до совершенства кинжал на лучинки спичечной толщины и скрывается в блиндаже, откуда появляется в ослепительном вечернем костюме: узконосые мокасы, лазурные брючата, облипающие на икрах и обвисающие на ляжках и заду, моднейшая красно-оранжевая рубашка, спереди обтянутая, а сзади вздутая пузырьём. Чтобы пузырь не опал, складки вдоль спины располагались специальным образом в виде шпангоутов.

Невероятно спокойный, лишь слегка поигрывая желваками, он шагал к автобусной остановке и торчал там хоть два часа, – пройти восемьсот метров на своих двоих было ниже его достоинства.

Сейчас Идол стоял перед ними, абсолютно невозмутимый, одни только скулы слегка поигрывали.

– Выпьешь с нами? – пригласил его Кача.

– Этот с тобой, что ли? – Идол ткнул пальцем в Олега, одними бровями изобразив изумление и следя, чтобы голос был не более выразительным, чем скрип несмазанной двери. И Олег со стыдом ощутил, какое чистое у него лицо, какой живой и внимательный взгляд. Ещё и не забалдел, как назло... Может, хоть выхлоп есть? Он стал усиленно дышать в сторону Идола.

– Кончай, – Кача почти ласково дотронулся до Идолова локтя. Может быть, это не так уж и хорошо, что для Качи все люди равны?

Прежде чем забраться под кусты, Идол комком земли пресерьёзно затер глаза молодому человеку на плакате, а затем тщательно выбрал в чешуйчатой обшивке эстрады подходящую дощечку – без сучков, в три рывка отодрал и своей «лисичкой» принялся невозмутимо выстругивать грузинский кинжал – цель его жизни на каждый день. И такова была сила этой невозмутимости, что даже Андрюха примолк. Олег, стараясь не привлекать внимание Идола, высчитывал в уме, рассказать ли пацанам, что *они с Качей и Идолом* раздавили две бутылки на троих (Андрюха не в счёт, потому что «огнетушитель» больше обычной бутылки), или перевести водяру в винище, и тогда получится уже три бутылки?

* * *

Идол не стал сентиментальничать и удалился, как только опустела бутылка, даже кинжала расщеплять не стал – он любил разрушать именно совершенное.

На танцплощадке он постоял у ограды сколько полагалось, мёртвыми глазами глядя сквозь танцевальную толкотню и поигрывая желваками. Иногда его задевали, но сразу же терялись в толпе, и ему оставалось только мертветь и играть желваками, повторяя про себя: «Ну, суки, ну, суки...»

У выхода, на границе между светом и тьмой каменела контролёрша – гранитная бабка, непреклонно облачившаяся от ночной сырости в ватник и кирзовые сапоги, не соблазняясь разливающимся вокруг великолепием. Она сунула ему контрамарку, по которой можно было вернуться обратно без билета.

– Надрыгался ногам? – полуутвердительно спросила билетерша. – Как всё равно козлы...

Снаружи, колеблясь, словно водоросли, тянулись вперёд и вверх, будто в необыкновенно активно работающем классе, десятка полтора рук с мольбой: «Контрамарочку, контрамарочку!..» Шедший впереди парень, не глядя, королевским жестом сунул этому осьминогу скомканную бумажку, после короткой, но бурной схватки растворившуюся в воздухе. Идол очень спокойно и тщательно, как расщеплял кинжалы, изорвал контрамарку и новогодним конфетти пустил по ветерку над головами просителей. «Ну, суки, ну, суки...» – повторял он про себя.

На улице ему попалась навстречу парочка – голубочки, защebetались, выпялились один на другого. Поравнявшись с ними, Идол изо всей силы ударил парня плечом в грудь, прибавив очень спокойно: «Смотри, куда идешь». Остановился и подождал. Но девчонка утащила парня прочь.

На автобусной остановке он минут сорок мёртвыми глазами смотрел на ожидавших и повторял про себя, поигрывая желваками: «Ну, суки, ну, суки...» В автобусе, стиснув челюсти и упершись локтями в стенку, он создал для себя тридцать сантиметров свободы, и его сосед, благообразный мужчина с портфелем, размышлял, глядя на его волевое лицо: «Порождение определённой микросреды».

Идол слышал за спиной трудную возню: «Вы не выходите? Давайте мы с вами поменяемся» – и ждал остановки. «...Ну, суки, ну, суки...» Когда автобус притормозил, он внезапно присел и, упершись ногами в стенку, с силой выпрямился вкось, к выходу, угодив изумлённому мужчине головой в подбородок, и, остервенело работая локтями, продрался на улицу, выдавив двух теток.

– Хулиган! – донеслось до него, но он не оглянулся. «Ну, суки, ну, суки...» – повторял он про себя.

* * *

После ухода Идола Андрюха с удвоенной силой вернулся к прежней теме. Они сами хотят, тут главное – не зевай! Многие из них даже лозунга «не зевай!» не могли целиком предоставить мужчинам, а начинали не зевать сами. Пройдись вот тут, по кустикам – обязательно какая-нибудь прицепится, начнёт предлагать себя. Плохо только, что в темноте не видно, ещё напорешься на какого-нибудь крокодила...

Странный человек... не всё ли равно: крокодил – не крокодил...

А с Олегом что-то произошло, как-то плохо он стал понимать, что ему говорит Андрюха, старался вслушиваться – и не мог. Даже всмотреться в женщину с рыбой толком не удавалось – всё она куда-то уплывала. И не потому, что было уже темно, – фонарь светил вполне исправно. На эстраде какая-то женщина, сладострастно изгибаясь на месте, исполняла медленный индийский танец, приманивая самцов, и он долго не мог понять, что это флаг колышется под ветерком.

Никак было не сосредоточить зрачки. Он попытался закрыть глаза, чтобы они успокоились, но сразу же ноги начали подниматься кверху, и он еле успел открыть глаза, пока ещё не очутился вверх ногами. Ломило голову и было жарко в самом себе. Струйками набегала слюна, и слишком противно было её сглатывать, и он

не знал, куда деваться от собственного дыхания, – таким мерзким вдруг стал приятный аромат «Вермута». Олег встал.

– Домой? – спросил Кача, но было слишком противно отвечать ему, будоражить рот, отвратительный, как помойка.

Завидев танцплощадку – рассышующую кадушку света, он с безразличием вспомнил, что тоже, случалось, изнывая от скуки и унижения, тянул руку за контрамаркой, надеясь, что она ему не достанется. Но это было почётное унижение, им можно было хвастаться, как, наверно, в старину не считалось унижительным напроситься в гости к королю.

Он зачем-то припал к освещенной щели. Перед ним кружились голые ноги в туфельках – полные, худые. Ему было на них наплевать. Он перевёл глаза вверх, на лица, и столкнулся с сияющим девичьим взглядом, которым она смотрела на своего партнёра. В нём что-то оборвалось. Насколько он мог еще соображать, он понял, что ему нужен именно взгляд, а не ноги, что он предчувствует в женщине какое-то умиротворение, – а с лозунгом «не зевай!» ни на взгляды, ни на умиротворение рассчитывать не приходится.

По пути в уборную он сбился с дороги и ориентировался исключительно по пронзительному запаху хлорки. Совершенно неожиданным было количество ям и бугров, деревья выскакивали как из-под земли. Они толкались совсем не больно, но буквально сшибали с ног.

Он вспомнил, что где-то неподалёку, если верить Андрюхе, дружинники кого-то тыкали в спину. Добравшись до места, он с усилием всмотрелся в огромное «ню» над желобком, в котором взбитыми сливками стояла хлорная пена – молочная река. Лицо у «ню» было нацарапано кое-как – «точка, точка, запятая», а всю свою страсть художник вложил в грандиозные бёдра, напоминавшие исполинский червонный туз. Может быть, всё-таки это и есть нормальный взгляд на женщину, а он, по обыкновению, путает и усложняет?..

Он, спотыкаясь, брёл в темноте, в которой, тоже спотыкаясь, разыскивали его несчастные женщины, не знавшие, кому предложить себя. Некоторые, может быть, не решаясь так прямо обратиться к нему за помощью, но тут уж *не зевай*. Наконец неподалеку от танцплощадки одной из них повезло – она столкнулась с Олегом нос к носу.

– Не меня ищешь, девушка? – развязно спросил Олег, хватая ее за руку. Слова, интонация, жест сработали, как у автомата, – тоже, оказывается, сидели в нём.

Она рванулась, но это было не так просто. Автомат, пробудившийся в нём, хотел предложить ей не ломаться, но тут он случайно взглянул ей в лицо, иссечённое тенями ветвей, и увидел в нём испуг, гнев... И немедленно сработала другая автоматика – рука разжалась сама собой. «Извините», – пробормотал он, и она со всех ног кинулась к свету.

Он ещё долго блуждал в темноте, падал, продирался сквозь кусты, уткнувшись в собственный локоть. Неполноценный он какой-то, что ли?.. У Андрюхи же вот полная гармония... Думалось механически, краешком сознания. Было так худо, что не хватало сил не только на тоску, а даже закрыть рот – да пусть его, хоть проветрится...

Что-то забелело впереди, и он очутился перед женщиной с рыбой. Могучие бёдра её плыли перед глазами и всё не могли уплыть до конца. В последнем, не потушенном мукой пятачке сознания вспыхивали какие-то обрывки: «Андрюха трепался... я смотрел на её бедра... а когда я посмотрел той девчонке в лицо, я уже не мог её держать... Лицо – зеркало души... Я думал, грязи нет... это и есть грязь, когда не смотришь человеку в лицо... когда тебе нужны его ноги... или руки... а на зеркало души тебе плевать... грязь – это та баба в уборной, с бёдрами и без лица... Всё, что без лица, – это и есть грязь... На том парне с плаката тоже лица нет – одна улыбка... теперь и глаз нет...»

Со слюной было истинное мучение – её ведь не сплюнешь, не закрыв рта, а сил на это не было. Если бы хоть не дышать «Вермутом»... За оградой миллионами окон переливался пятиэтажный дом, – столько окон Олег в жизни не видал, хотя некоторые и не горели – чернели, будто выбитые зубы. Стен было не различить, и окна пылали, словно дыры в небе, прорубленные в край безбрежного света.

– Так ты сюда вернулся? А я тебя ишу по всему парку... ещё, думаю, загребут с непривычки.

Кача бережно держал его за плечо, но и это было ему всё равно. Он и так еле успел нагнуться.

Уже нечем было, а его всё корчило. Лицо и мышцы живота готовы были лопнуть. Кача заботливо поддерживал его поперёк живота.

– Потрави, потрави, – одобритительно приговаривал он, и не мог не отметить профессионально: – Пресс ты хорошо подкачал.

Наконец и Олег отплевался от клейкой слюны и принялся утирать залитое слезами лицо.

– Ну, что, можешь идти? – заботливо спрашивал Кача. – А то там метут всех подряд – в кустах какую-то бабу зарезали.

– Как?!

Олега сквозь всю его очумелость словно хватили пустым цинковым ведром по голове.

– За что?..

– А хер знает... Может, изнасиловать хотели, а она не давалась... А может, изнасиловали и пришили, чтоб не опознала... Тут же перо у каждого второго... Хотя в темноте... Как бы она их запомнила?.. Давай, давай, пошли.

– А... А какая она?..

Перед его глазами снова предстало иссечённое ветвями, искажённое гневом и страхом пухленькое личико.

– Не знаешь?.. Пухленькая?..

– Откуда я знаю, пошли!

Но Олег вдруг опустил в невидимую черную пыль и зарыдал так, как не рыдал, кажется, ещё никогда в жизни.

– Ты чего?.. Ты чего?.. – ошалело встряхивал его Кача, и Олег кусал себя за руки, колотил по щекам, но рыдания рвались из груди неудержимо, как рвота.

Наконец он сумел кое-как остановиться и, запрокинув голову, начал выкрикивать чёрному могучему силуэту:

– Это я её убил!.. Я!.. Слышишь, я!..

– Хватит мозги е...ть... – Кача даже перешёл на непривычный для него язык и, встревоженно отыскав в темноте руки Олега, начал вертеть их перед глазами, стараясь в отблесках дальнего света отыскать на них следы крови.

Не нашёл. Рывком поставил Олега на ноги и, подталкивая в поясницу, повёл к дырке в заборе, бормоча:

– Не, тебе точно пить нельзя...

А Олег всё пытался объясниться через плечо:

– Я не в этом смысле... Но я тоже её схватил, понимаешь, она на меня смотрела как на убийцу, понимаешь?.. Может быть, я был последний, кого она видела в своей жизни, понимаешь?..

Но Кача уже не отвечал. Он явно желал побыстрее закончить этот весёлый вечер.

* * *

Олег был уверен, что это испуганное пухлое личико будет стоять у него перед глазами до конца его дней, но осенние дожди смыли это лицо вместе с летней пылью.

А под Новый год Кача с Идолом встретили подгулявшую компанию. Идол кого-то зацепил, Кача вступился – вышла драка. Как рассказывали, Кача укладывал противников штабелями, а Идол обрабатывал павших своей «лисичкой», в результате чего оказалось шестеро пострадавших. К счастью, благодаря зимней одежде слишком серьёзных увечий не было, но всё-таки Идол получил шесть лет, а Кача – три. Потом Олег уехал поступать в университет и больше Качу не встречал. Но он часто вспоминал его – и его мать, всех называвшую сыночками. И всегда думал, что, может быть, не так уж это и хорошо, что для Качи все люди были равны? Может быть, лучше бы ему быть не таким верным товарищем для каждого, с кем ему случалось поддаться?

А потом и его смыли дожди и метели...

ИДИОТ

Олег с невольной гримасой страдания смотрел, как Светка, кося в зеркало, пинцетом подправляет брови, – у неё на лице было написано чувство, которое у каких-нибудь там отцов-пустынников могло бы вызвать сомнение, не скрывается ли за явным самобичеванием тайное сладострастие. Он видел, что Светка им недовольна, но старался показать, что никакого недовольства нет, словно надеясь, что и она в конце концов ему поверит. Поэтому он заговорил с преувеличенной горячностью, как бы и не допуская мысли, что его разговор могут не поддержать.

– Знаешь, о чём я вчера подумал? – в вопросе больше контактности, чем в монологе. – Мы все сейчас ходим друг к другу в гости, как в публичный дом. Пришли развлекаться и готовы заплатить, но только точно по таксе. А попроси сверх этого, на чай, какого-нибудь элементарного участия – хоть скажи, что голова болит, – вытаращат глаза: какое неприличие, какое непонимание взаимных обязанностей!.. Парикмахер обслужил клиента и за это просится к нему переночевать. Мне раньше казалось, что когда люди собрались вместе, в этом уже содержится какое-то взаимное признание, какое-то обещание...

Олег мог бы ещё долго чересчур горячо уточнять одолевавшую его в последнее время мысль, но жена чересчур спокойно прервала его:

– Странно, мне вчера показалось, что вы с Верочкой прекрасно понимаете друг друга. – До чего пристально она разглядывает свою бровь, просто с головой поглощена. Сразу видно, что сейчас она именно жена, а не просто Светка.

– Как ты не понимаешь, – только ни единой ноты оправдания, лишь рядовая досада. – Для меня выражать интерес к женщине, в застолье, конечно, – просто форма вежливости.

– Да что ты оправдываешься (всё-таки вставила это слово!), делай, как тебе нравится.

В жизни не видел, чтобы человека так занимало зрелище собственной брови.

– Чего мне оправдываться... Но как ты не можешь понять такую простую вещь...

– Да я же тебе сказала: делай, что хочешь. Что ты на меня накинулся? – она иногда забывает о существовании нейтральных выражений, таких, например, как «выразил несогласие».

И так это она энергично укладывается, раз-два – и собралась. И не улыбнётся на прощанье, что, мол, ладно, всё это пустяки, – Олега это начинало удивлять. Но тем не менее «спокойной ночи» – и всё. Дверь захлопнулась. Он бы сделал что-нибудь, если бы мог предположить, что она так вот и уйдёт. Они никогда ещё так не расставались, даже на полчаса, – расставание всегда было сигналом к примирению. Даже на полчаса, а тут целая ночь: она сегодня дежурила «ночным

директором», – почему-то в праздничные дни, кроме охраны, в конторе должен присутствовать кто-нибудь из белых воротничков, – водопроводчика, что ли, вызывать в случае всемирного потопа и тому подобное.

Нехорошо сделалось у него на душе – неужели его штуки наконец надоели ей по-настоящему? Да нет, никаких особенных штук, но всё-таки он иногда начинал смотреть на себя её глазами и от этого умиляться своими поступками, для других глаз, в том числе для его собственных, довольно сомнительными. Впрочем, она тоже этим грешила.

Слава богу – звонок! И она не выдержала. С церемонным поклоном распахнул дверь, выпрямился – прямо наваждение! Вера! Забрела на огонёк. Такая же бойкая.

Он едва не выругался. Но, вмиг справившись, заговорил «по-свойски» с негласно условленной между ними дружелюбной грубоватостью: «О, здорово! Здорово, здорово, поздравляю с Международным женским». – «Спасибо, и мать вашу так же, ты жене-то хоть цветов купил?» – «У меня же нет личных денег (и лишних тоже), за её, что ли, покупать». – «Подлецы вы, мужчины (это с одобрением), хотя сейчас к цветам не подступишься, совсем озверели, за каждый веник – пятёрка». – «Пятёрка – да лучше я полбанки куплю». – «Вам бы только пить» (это тоже с одобрением). – «Да разве я пью». – «Не пьешь, пока не наливают». – «Да смотри, вот у меня две недели пол-литра стоит и до сих пор абсолютно девственна». (Вере нравятся пикантные шутки.)

В этом месте Олег забормотал и засуетился с рюмками, изображая повышенный азарт гостеприимства: он осознал, что квартира на всю ночь в его распоряжении. Вера польщённо отмахивалась: да не надо ничего, вот, кстати, у неё ветчина – заскочила в здешний универсам – тётки как звери – что у вас в сумке – это же они тоже не имеют права – ну, она расписывалась и говорит: что вы меня проверяете, это не на мне золотые кольца, а на вас.

За это она и нравится Олегу: в их компании она одна может сказать о себе: «расписывалась», а не «возмутилась». Олег начинает приходить в себя, но в смехе его уже слышна угодливость – классический атрибут оболыщения. Теперь перед ним объект – до дружелюбия ли тут.

И с удовольствием вспоминает, что в их возрасте с этим делом всё наконец-то сделалось гораздо проще (несолидно только, что он об этом думает как пацан – будто чёрт-те о чём), и если он до сих пор не изменял жене, то лишь потому, что сам этого не хотел, побаивался, что ли, «переступить» – но вчера он был как никогда близок к грехопадению, помешали, вероятно, только условия места и времени. Кому, собственно, от этого плохо?

* * *

В те поры, когда во дворах ещё громоздились целые пространства поленниц, Верка в сатиновых шароварах бегала с мальчишками; шаровары мягким свисанием и покачиванием округляли, упрятывали её тонконогую вертлявость чертёнка. Когда она пробиралась в закуток меж гаражом и поленницей, Шурка толкнул её в бок: гляди, Батрачиха зырит, а Верка отрезала без купюр: «Ну ее в ж...». Они там курили, а может, и ещё чем-то занимались – она так и была оставлена в подозрении. А когда шуганула мать: «Верка, паразитка, а ну, вылезай!» – и попыталась сквозь щель вытянуть её скрученным в жгут фартуком, который по пути стащила через голову, совсем расплававшись, – Верка выскочила, как ошпаренная кошка, только колыхание шаровар придавало её бегу мягкую плавность, а мать кричала вслед, брала на пушку: «Я же всё видела, как тебе не стыдно!», а Верка бормотала под нос: «Стыдно, у кого видно».

В школе училась без всяких – схватит пару, так тут же исправит, а когда она отарабанила квадраты чисел до тридцати, математичка, из-за своей полноты усвоившая манеру грубоватой, но мудрой бабы, покачала головой: умная голова, да дураку досталась. В техникуме – первая заводила вечеринок и пикников, похожих на вечеринки, «свой парень», злые языки поговаривают о чрезмерной лёгкости её поведения, и не совсем без оснований, но лёгкость эта проистекает более из компанейского, чем эротического начала.

Олег хорошо представлял Веру в детстве, хотя и не знал её тогда.

* * *

Нехитрая возня с рюмками и вилками не такое поглощающее занятие, чтобы оправдать молчание или хотя бы натужность в разговоре, но первые такты можно разыграть традиционно: хорошо прошла, первая колом – вторая соколом, огурчика бы сюда и т. п. Но дальше требуется кое-какая фантазия, во всяком случае ему, неосторожно приучившему знакомых к довольно изобретательному трёпу. Однако корыстная задняя мысль пудовой гирей тянет на дно: оказывается, даже для балагурства нужна известная необязательность, свобода творчества.

Таким образом, довольно быстро и бесцеремонно выясняется, что говорить им не о чём. Пока они выезжают на игривых интонациях, но на них одних долго не протянешь. Олег пробует продолжить вчерашнюю, казалось бы, стопроцентно гарантированную линию воспоминаний о детских отчаянных выходках, – бойцы, так сказать, вспоминают минувшие дни, – но всё вчерашнее сейчас почему-то не годится.

Да, меж двоими это был какой-то спектакль без зрителей. Неужели вчера это и был спектакль, и каждый ценил в другом хорошего партнёра? Противоречие между той мочалой, которую они жуют, и игриво-угодливыми интонациями становится всё более разительным. Эти интонации не слишком нелепы лишь в качестве того, чем они и являются: в качестве пригласительной стадии к дальнейшему. Они словно провозглашают в открытую: смотрите, он не просто говорит – он готовит почву, вернее матрац. Но только что-то слишком медленно.

В её голосе уже чувствуется недоумение, но она ещё бодрится:

– Такие сволочи, подъезжает к остановке, а сам хоть бы чуть притормозил. Окатила вот досюда. Я специально с первой площадки села и говорю: пальто мне ваша жена будет стирать? Смотрит – луп, луп. Я спрашиваю, видите, что вы со мной сделали? Говорит: не может быть. Не может ещё быть! Я говорю: а! по-вашему, я сама купалась? Так он нарочно от площади Победы до Тюменской сорок минут тащился. Чуть на работу из-за него не опоздала. Стала выходить – говорю: вам на катафалке надо работать.

– Ха-ха-ха, – говорит Олег (почти «хи-хи-хи» – он почти не перестаёт подхихивать). – Это ты хорошо – на катафалке. Точно! – таким только на катафалке и работать! Покойников возить. Им ведь торопиться некуда. – Он в восторге от её находчивости, и никак ему не отстать от этого катафалка. С катафалком как-то спокойнее. Он бы ещё и пальто пошёл посмотреть, только для этого пришлось бы включить свет.

Уже совсем стемнело, но света они не зажигали. От уличного фонаря на стене светился струистый параллелограмм – такое волнистое стекло, хотя днём незаметно. Отсутствие света тоже обличало – с чего это вам так понравилось сидеть в темноте? – и требовало: или зажгите свет, или приступайте к делу. Но на Олега нашло такое оцепенение, какого он, кажется, не знал и в семнадцать лет. Чувственности темнота в комнате содержала не больше, чем темнота погреба с картошкой. Как будто просто погас свет. В полумраке женские лица обычно кажутся кра-

сивее, но ему было не до женских прелестей, — он уже просто не знал, как ему выпутаться.

Вдруг взять и включить свет? — на это требовалось, пожалуй, даже больше решимости. Мало того, что жалко оказаться идиотом — упустить такой случай, — но это значило бы окончательно показать ей, что всё кончилось, атака захлебнулась, а всё предыдущее, включая угодливость, игривость, темноту и рискованные шутки, было неизвестно зачем разыгранной комедией. Или разыгранной известно зачем, но помешала трусость. Олег прямо затосковал. Он решил было назначить себе срок, хотя бы досчитать до десяти, но удержался: всякий такой срок только подчеркнул бы его нерешительность — уже было ясно, что он «не переступит».

Но что за несчастье! Ведь вчера помешали только условия места и времени, его всерьёз тянуло к ней, даже в груди что-то щекотало, — не так чтобы очень, но всё-таки, — это было, что ли, возбуждение от удачного партнёра-сатирика, от музыки, движения? И решимость оттуда же? Выпивка и здесь была, но хмель его не брал, то есть в этом смысле не брал. Вчера во время танца он определённо её прижал, во всяком случае, усилию до этого не хватило какой-нибудь сотни граммов, — может, включить музыку, потанцевать? Но это тоже какой-то спектакль без зрителей... Главное, неловко прибегать к столь искусственным средствам возбуждения, — она сразу поймёт, она на этот счёт очень шустрая. Возражать не будет, но поймёт, — лучше уж не надо. Она уже с отчётливым недоумением рассказывает, как соседка каждый день просит её купить в булочной возле её работы тёплого хлеба, — как-то установила, что в это время туда как раз подвозят тёплый хлеб. Ха-ха-ха, тёплый хлеб, говорит он, ничего себе — тёплый хлеб. Ишь, лакомка какая — тёплый хлеб ей подавай, дай ей тёплого хлеба — и всё тут. До чего народ разбаловался — без тёплого хлеба к ним не суйся. Ну, не знал, что она такая сибаритка, а тёплый хлеб, кстати, вреден для желудка, древние греки, а, может, римы, тёплый хлеб давали только рабам. А ей, значит, нужен тёплый хлеб? Так-так. Так и запишем! Нуу! И долго ещё слышится: тёплый хлеб, тёплого хлеба, тёплым хлебом.

Она пробует вернуться к проверенной теме — отчаянным выходкам, — интересно, как она всё это понимает? — предложила пощупать выше локтя шрам от кровельного железа. Он чуть потрогал — и обратно: не хотел прибегать к фальшивому (и понятному ей) поводу пощупать — в духе восьмого класса, и потом, лишнее щупанье — лишняя атака, за которой последует лишнее отступление, а что оно последует — он уже не сомневался.

Силуэт Веры удалился в туалет, и какая-то слишком широкая вертикальная полоса света, казалось, говорила о том, что она не заперла дверь на задвижку. Он старался не слышать, что там происходит, но всё-таки невольно прислушивался. А потом испытание возобновилось.

Ночь тянулась бесконечно, словно полярная. Так долго, что у него возникли серьёзные сомнения, будет ли она вообще иметь конец, но недостаточно долго, чтобы эти сомнения успели рассеяться. Его угодливость из игриво-ласковой приняла форму адъютантской подтянутости, готовности ловко вскочить и щёлкнуть каблуками, ловко поклониться, ловко подтвердить, предложить руку. А может быть, это была лакейская подтянутость. Даже мышцы лица устали от подтянутого выражения. И он, галантно опрокидывая стопочку за стопочкой, переносил подтянутость долгие зимние месяцы, и даже крошечная печурка не потрескивала в его одинокой хижине. Где-то ближе к полярной весне он, подтянуто позвякивая шпорами, ощупью варил кофе, и кофейная лужица на столе потом служила для него неиссякаемым источником развлечений, даже когда она совсем рассосалась в скатерти.

А когда зажётся свет, это была не весна, а просто свет, словно после киносеанса. Они оба очень прозаически щурились от бестактно яркого света и готовы

были отгонять его от глаз, как дым. Лица у обоих были мятые и пятнистые от водки и нелепости. Подтянутости уже не было, а была не очень сильная – начальственная – виноватость, – будто он отказал просителю в его просьбе на основании государственных соображений. Про пятно на скатерти было уже забыто, что оно кофейное, и теперь оно было заурядно неприличным.

Когда она с усилием задёрнула басисто рычащие молнии на сапогах, он просительно пошутил: «У тебя молнии с громом». Она нелицемерно хмыкнула и пожалала одним плечом. «Посиди ещё», – простодушно предложил он, и она снова не стала финтить: выпрямившись, с ещё набухшим от напряжения лицом, прямо глядя ему в глаза, спросила: «А чего высиживать? Пойду, пока трамваи ходят». – «А разве они сейчас ходят?» – автоматически спросил Олег, со страхом отыскивая в её лице признаки насмешки. – «А чего им не ходить – одиннадцать часов». Насмешки не было, наоборот, она смотрела с высокомерием оскорблённого, с тем высокомерием, которое, собственно, должно показать, что оскорблённый вовсе и не оскорблен. Олег ответил младенческой оживлённостью, живо интересующейся и цветом пуговиц собеседника, и его сапогами, ушами, а также вешалкой, абажуром, дверным замком...

Когда дверь захлопнулась, Олег с младенческим любопытством снова рассмотрел коврик у двери, абажур, свою рубашку, поскрёб ногтем пятнышко на рукаве. Потом он увидел себя в зеркале и вдруг, развязно ослабляясь, подмигнул себе, чего никогда прежде не делал, поспешно отвернулся, бесшабашно воскликнул: «А! плевать!» – но зябко передёрнул плечами. Небрежной походочкой прошёлся по комнате, подёргивая углом рта, – что-то вроде нервно-презрительной ухмылки, – хотел, будто венником в парилке, огреть себя разок-другой какой-нибудь разудалой шуткой и внезапно, подойдя к кровати, – кажется, он уже догадывался, зачем он к ней идёт, – что есть мочи хватил по ней кулаком и плюхнулся на неё лицом вниз.

От водки и музейного духа покрывала сразу стало душно, он перевернулся на бок, лицом к стене и изо всех сил зажмурился, так что в глазах запрыгали жёлтые огоньки. «Идиотыдиотыдиотыдиот...» – корчась от неловкости, твердил он до тех пор, пока неловкость вдруг разом не смыло тревогой: да ведь он теперь больше никогда не сможет обнять женщину – обязательно вспомнит сегодняшнее, и им овладеет оцепенение. Но если он даже не посчитается с ним, бросится как с обрыва, – это приведёт только к ещё гораздо худшему позору. Здесь нужно не мужество отчаяния... Может, сегодня ему просто перед Светкой было совестно? Хоть не ври, – про Светку он ни разу и не вспомнил. Да и что, убудет её от этого! И он, сжимая ладонями виски, долго перекатывался с боку на бок и, кажется, даже постукивался лбом о стену.

Долго-долго он рассматривал невиданно пышную обойную флору, и столько ему в ней открылось: и недорисованные профили – и так, и вверх ногами, – и глаза, и детали верблюдинок, и кукиши – всего не перечислить. А потом он как-то вдруг спросил себя по старой методе: да в самом ли деле ему чего-то эдакого хотелось? И с неожиданной радостью ответил: именно что не хотелось!

Более того, в его нежелании было прямо-таки упрямство, как будто его заставляли что-то сделать, а он всё больше набычивался. Угодливость? – и она мешала, – она ему всегда плохо удавалась – приветливость с задней мыслью.

Но нет, этого мало, он ещё явственно ощущал... – на что же это похоже? А! Вот на что! Подбегает к тебе кто-то, смеётся, трясёт руку – а ты почему-то не можешь ему радоваться. И неловко тебе – а не можешь. И не его стыдно обмануть – ему было бы только лучше, – нет! – стыдно как будто перед самими знаками радости. Вроде как они такие дорогие для тебя вещи, что совестно использовать их не по назначению. Вот оно что! Раньше эротические ласки были для него

прежде всего средствами самостимулирования, а теперь они стали для него именно *ласками*, выражающими *ласковость*, доброжелательство, обещание помочь, если потребуется...

Но всё-таки – а вдруг этот страх теперь привяжется к нему насовсем?.. Чёрт, и Светки нет как назло, а то бы прямо сейчас попробовал...

Он нервно прошёлся по комнате, выглянул в окно.

Первый этаж, вокруг фонаря всё отлично видно. Кругляшки недавно спиленных ветвей светятся половинками разрезанных репок. Мартовский снег, потемневший, скристаллизовавшийся, ногами размолотый в рассыпчатый песок, чуть присыпанный новым снежком, тоже уже притоптанным, проглядывал сквозь него зёрнышками, будто манная каша сквозь молочную пенку. Чуть поодаль виднелся телефон-автомат, накренившийся, как Пизанская башня. Он уже так давно кренился, что каждый успел увериться, что не при нём он рухнет, и входил в него без опаски. Телефон...

В следующую секунду он уже был в дверях, в два бесшумных прыжка одолел семь ступенек, на улице перемахнул через мусорный бак. Одеваться ни к чему. Такая лёгкость на душе, – тело восхитительно слушается его. В будке на всякий случай щёлкнул выключателем, – и вдруг вспыхнул свет. Исправно! Это тем больше радуется, чем реже случается. Стало совсем уютно, особенно когда знаешь, что сейчас снова в тепло.

Диск визжит, как несмазанная телега. В трубке гудки, космическое откашливание.

– Здравствуйте, это ответственный дежурный? С вами говорит начальник городской охраны пожаров.

Молчание.

– Алло, алло! Света, это ты?..

Снова молчание.

И наконец брюзгливый надтреснутый бас.

– Нету твоей Светы. Током убило.

– Как убило?..

– Как убивает?.. У тебя там розетка есть? Вот разбери её и возьми за концы – узнаешь.

– Так как?.. Так что?.. Её совсем, что ли?..

– Приезжай – увидишь, – немножко смягчился бас. – Может, ещё успеешь проститься.

Ничего не соображая, Олег ринулся со двора на улицу. Морозец уже проникал сквозь рубашку, но было кощунственно обращать на это внимание. Однако завидев мчащиеся по проспекту редкие машины, он сообразил, что без куртки обойтись можно, но без денег никак.

Взбежал по лестнице он задыхаясь, как старик, трясущимися руками, кроя себя страшными проклятиями, долго не мог попасть ключом в скважину.

Выгреб из всех карманов всё, что было, до последней мелочи – на такси хватит раза на три, – не попадая в рукава, натянул куртку уже на лестнице, протолкнув сквозь рукав пригревшийся в нём шарф. Вытянул его на бегу, изо всех сил заставляя себя всматриваться под ноги: сейчас сломать ногу – и всему конец.

На мерцающем в туманных фонарях страшном проспекте, чёрно-серебрящемся среди ночных снегов, он отчаянно махал каждой пронесившейся машине сначала просто рукой, потом трепыхающимися бумажками, но эти железные акулы с белыми огненными глазами, абсолютно безжалостные, как все в этом мире, равнодушно вжикали мимо.

Наконец он выбежал прямо навстречу какой-то пятой-седьмой из них и упал на колени, пригнув голову, чтобы не видеть, задавит она его или нет. На истерический визг тормозов он лишь что есть мочи зажмурился.

Открыл глаза. Радиатор скалился метрах в полутора, из дверцы выпрастывался лысый толстяк с каким-то поблескивающим стальным инструментом.

Опережая ругань, а может быть, и удар, Олег вытянул ему навстречу руки с мятыми бумажками и воззвал словно к господу богу:

– У меня только что жену убило током! Отвезите меня, здесь недалеко, я всё отдам, вот, возьмите деньги, у меня есть ещё часы, куртка...

Толстяк колебался, кажется, опасаясь, что имеет дело с сумасшедшим, и Олег, стараясь, чтобы голос не срывался на визгливые нотки, изо всех сил изображал нормальность, чувствуя, что лёд трогается.

– Не думайте, я нормальный человек, я работаю, у меня есть диплом, я просто сейчас так выгляжу, я здесь рядом живу, могу показать, клянусь, заходите завтра – я вам всё покажу, возьмёте все, что захотите...

Он совсем забыл, что квартира эта съёмная и ему там принадлежит лишь двухпудовая гиря да комплект пластинок «Бориса Годунова».

– Садись, – наконец бросил толстяк, и Олег не бросился целовать ему руки только потому, что тот сразу же двинулся к машине.

Олег пробрался с другой стороны, стараясь занимать как можно меньше места.

Они мчались по какому-то совершенно чужому страшному городу, и Олег безостановочно молился одними губами: Господи, сделай так, чтобы она была жива – клянусь, я никогда больше ни до кого не дотронусь, клянусь, я тебя больше никогда ни о чём не попрошу, никогда больше не буду говорить, что я в тебя не верю...

* * *

Светкин институт чернел страшным циклопическим кирпичом, поставленным на попа, – горели только две вертикальные цепочки окон на лестничных клетках да бессмысленно сиял пустынный вестибюль за дюралевой застеклённой дверью. С колотящимся в ушах и горле сердцем Олег лихорадочно нашаривал мечущимся взглядом звонок и никак не мог опознать его в белом квадратике на чёрном фоне.

Нашёл, утопил его прыгающим пальцем – ледяная тишина. Подолбил остервенело – вестибюль безмолвствовал. Олег развернулся к стеклу правым боком и изо всей силы врубил локтем, словно в драке под дых. Сдавленно взвыл и ухватил себя за отшибленную руку, покачался, сдержанно мыча. Потом отступил на два шага и с разворота что было силы врубил по стеклу каблуком.

Звон посыпавшихся стёкол был перекрыт пронзительнейшим нескончаемым электрическим звонком, заглушавшим любые человеческие звуки. Поэтому когда в огромной кривой звезде среди растрескавшегося стекла показалось перепуганное Светкино лицо, Олег был уже не в силах что-либо понимать. Он опустился на припорошённый снегом бетон, обхватил руками колени и разглядывал Светку так, словно собирался её кому-то описывать.

* * *

Однако к прибытию энергичного милицейского наряда они уже успели обо всём договориться. Дверь разбили хулиганы, она испугалась и вызвала мужа. Да, она знает, что посторонним здесь не место, но случай был исключительный. А потому – не подбросят ли они его до дома, им же всё равно нужно патрулировать.

Она подлизывалась, простодушничала, а Олег только тупо кивал. Наконец он тяжело, словно расслабленный дед, вскарабкался в воронок, и они куда-то тронулись. Может быть, домой, может быть, в тюрьму, может быть, на кладбище, может

быть, на свалку, – Олег с беспредельной ясностью понимал, что случиться в этом мире может решительно ВСЁ.

Елена ЕЛАГИНА

СИЛЫ ДАРИТ СТРАСТЬ

(Писатель Александр Мелихов – публицист)

Скажу сразу: перед разверзшейся задачей – осмыслить то, что сделано (и продолжает делаться ежедневно) писателем Александром Мелиховым в публицистике, оторопь возьмёт всякого. Это всё равно что попытаться обозреть ПСС Толстого или Бальзака (имеется в виду исключительный объём написанного). И хоть пишут публицистику нынче все (А кому, скажите, в наше удивительное время стремительной девальвации художественного текста дозволено жить в тесной мадональдсами башне из слоновой кости? Изгонят тут же, а засмеют так, что вовек не отмоешься!), но здесь случай всё же особый, поскольку предполагает почти забытый нынешними прагматиками толстовский посыл «не могу молчать» – правда, в своеобразной современной версии.

Из чего рождается нынешняя публицистика с её даже и в России кое-где очень неплохими гонорарами? Разумеется, в первую очередь из желания соответствовать запросу. Запрос нынче в русскоязычном мире, опять же в первую очередь, политический: хочешь заработать – становись, кем бы ты ни был изначально, политическим аналитиком. И вот блестящий, умнейший, образованнейший литературный критик (оговорюсь сразу – никого лично в виду не имею, речь о типажах, востребованных временем), скрипя зубами, выдавливает каждую неделю по актуальной политической колонке, так сказать, остроумно и с одобряемых соответствующей средой либеральных позиций реагирует на происходящее (примеры и в Москве, и в Питере у всех на виду). Получается почти всегда и в самом деле толково и едко, но скрип зубовой, увы, таки различим в кружеве острот и аллюзий. Ему бы своим делом заниматься – но за своё дело нынче не платят и платить, видимо, уже не будут никогда (унизительную беготню за грантами вынесем за скобки – там свой талант нужен и свои молодые силы). Такой вот, похоже, необратимый ход приняло развитие цивилизации. Резон номер два: активное присутствие в т. н. политической (а то и цивилизационной) аналитике резко поднимает статус её автора – был всего лишь крепким прозаиком, коих тьма и тьма, а стал заметным политологом, присутствует на всех телеэкранах, зван на все конференции, участвует во всех престижных сборниках, т. е. приобрёл соответствующий вес, порой и международный. А то, что своё пишет всё хуже и хуже, так кому это интересно, кроме бывших сокамерников по литературе, которые все сплошь как бы и неудачники? Здесь успех иного рода: тот же президиум советского литературного генералитета, только погоны другие.

Но – вернёмся к нашему герою. Думается, от гонораров он не отказывается (впрочем, тут же и раздаёт половину неимущим, так уж устроен), статус ему особенно повышать не надо – и так принят во всех престижных столичных журналах, газетах и влиятельных московских литературных тусовках (что для питерца большая редкость), а что остаётся? А остаётся то самое «не могу молчать», но скорее не в толстовском морально-нравственном аспекте (типа, люди, что это вы творите? опомнитесь, покайтесь и вернитесь на праведную дорогу!), а в варианте резкого,

чтоб не сказать – возбуждённого, ума учёного-писателя, когда идёт неостановимый аналитический процесс осмысления происходящего, требующий немедленной вербализации, если не в виде чеканных формулировок и формул, то хотя бы встройной системе векторов, задающих направления мысли. Иначе – разорвёт, как перегревшийся паровой котел.

Пишет Мелихов, как кажется, во всех мыслимых публицистических жанрах: от острополитического, важного именно для данной минуты аналитического комментария до добротного и в то же время ярко разработанного биографического очерка, при желании вполне могущего быть развёрнутым в книгу хорошо всем известной серии ЖЗЛ (и здесь равно блистательны очерки и о Норберте Винере, и об Илье Эренбурге). Реагирует на все едва уловимые колебания общественной атмосферы с чуткостью самого тонкого барометра. И везде интересен (держит текстом до конца – на середине не бросишь), оригинален (никаких общих мест и «заклятый огнём и мраком» в виде расхожих до свинцовой пошлости цитат) и стилистически узнаваем. Как сказал о нём некий закордонный зоил, не щадящий ничьи священные авторитеты, нож не просунешь в эти тексты. Т. е. – ничего лишнего, никакой провисающей жировой ткани, сплошь упругая мыслительная мускулатура.

И ещё, может быть, самое главное: Мелихов в эпоху тотальной ризомы, всеобщей фрагментарности и релятивистской размагниченности эпохи постмодерна удивительно, не по-нынешнему целен и стоек в своём восприятии и описании мира. Герой по античному образцу, но – герой мысли (впрочем, и сократовская цикута, как помним, была наказанием за обучение молодых мыслить). И позицию свою обозначает с предельной открытостью привыкшего к точности математика: *«...Человек жив только иллюзиями и фантазиями. Любить мы можем только собственные фантомы. Вся история человечества есть история зарождения, борьбы и упадка коллективных фантомов. Причина наркомании, самоубийств, немотивированных преступлений, депрессии, всеобщей подавленности в упадке коллективных иллюзий. Вот причина всех причин. /.../ Даже и сегодня в господствующих психологических моделях считается, что стремление к красоте – это только маска стремления к пользе. Я готов доказывать обратное: стремление к пользе – это только маска стремления к красоте. Человек больше всего хочет быть красивым и значительным».*

Неподготовленное ухо вполне может быть шокировано как самой цепочкой рассуждений, так и излюбленными мелиховскими терминами: только «фантом» и «грёза», ну, иногда смягчённо – «иллюзия», никогда не скажет «идея» со всеми производными. И это, надо сказать, вещь принципиальная. Дружески доверяя читателю, Мелихов не ленится объяснять, а то и подробно растолковывать, что имеется в виду. Создав свой терминологический ряд (скажем, замечательно точна его «маска» – социальная видимость, под которой скрываются идеологические «высокие» мотивы), он, дабы не возникло разночтений и двойственности в толкованиях, напрямую, по ходу дела, даёт и сами определения. Хотите из авторских уст услышать точное значение непривычного в научном обиходе слова? Пожалуй-ста: *«Фантомы – это любые эмоционально убедительные, но не выдерживающие стандартных верификационных процедур модели явлений, призванные не только соблазнять и воодушевлять, но и устрашать. Их функция – поражать воображение, а не только требовать „служить и жертвовать“! Пожалуй, тех, которым следует только служить и жертвовать, нет даже и вовсе, все они ещё и серьёзнейшим образом служат нам, иначе они не прожили бы столько тысячелетий. Но, обретая с их помощью смысл жизни, их приходится ещё и защищать. А вот защищать, совсем ничем не жертвуя, по-видимому действительно невозможно».*

Но – парадокс? – при таком жёстком структурировании социокультурного цивилизационного пространства Мелихов – о чём бы речь ни шла – абсолютно не выносит примитивной чёрно-белой графичности, не уставая повторять с упорством

проповедника, что не бывает простых решений, что любой плакатный лозунг – скорейший путь в неразрешимый и чаще всего кровавый общественный тупик: *«Расистскую сказку, преподнесённую миру под маской науки, подхватила именно невежественная чернь. Равно как марксизм и прочие тоталитарные учения. Фашизм – это бунт простоты против непонятной и ненужной сложности социального бытия; эту мою формулу, за которую, кстати, я получил премию фонда «Антифашист», нельзя оставить в стороне, если хоть сколько-нибудь полно рассматривать мои социально-философские взгляды».*

Самостоятельность и неангажированность Мелихова никакой влиятельной социальной группой иногда приводит в замешательство: позвольте, а как же быть, скажем, со святая святых нынешнего цивилизованного мира, политкорректностью, в следующей цитате: *«Тем, что я пробуждаю в человеке стремление быть красивым, я нисколько не ущемляю его. Напротив, я даю ему возможность стать сильнее. Восхищение титанами не подавляет. /.../ Если мы в угоду слабым и обойдённым разрушим наши представления о красоте, чтобы их не обижать, то и они останутся в жалком мире, где нечем восхищаться?»* А вот как хотите! Но спорить с такой логикой, согласитесь, нелегко. В самом деле, кто захочет жить в мире столь серьёзных изъятий? Ну а уж продолжение этой мысли и вовсе шокирует «невидимую руку рынка», столь любезную всякому радикальному (а другие в России, вроде, и не водятся) либералу: *«В защите нуждаются не только слабые люди, но и слабые ценности, слабые святыни, которые на рынке, в конкурентной борьбе проиграют. К ним относятся, прежде всего, искусство и культура».* Хранителем же и создателем коллективных грёз по Мелихову является национальная аристократия: *«Надеюсь, излишне разъяснить, что национальная аристократия образуется не по крови, а по готовности жертвовать близким и ощутимым во имя отдалённого и незримого. Но, поскольку всякая коллективная наследуемая деятельность вдохновляется коллективными наследуемыми фантомами, то и деятельность национальной аристократии должна неизбежно вдохновляться фантомами главным образом не личными и не общечеловеческими, а национальными».* /.../ *«Но аристократы в индивидуалистическом обществе составляют меньшинство и потому они не должны считать глас большинства гласом божьим, не должны покоряться авторитету большинства. Однако на сколь жестокие меры они должны быть готовы для защиты своих ценностей, я думаю, предрешать заранее не нужно, а нужно всеми силами избегать ситуаций, в которых аристократические и плебейские ценности повели бы борьбу на взаимное истребление. Аристократы более всех заинтересованы в социальном сотрудничестве. Тем более что в войне их почти наверняка ждёт поражение».*

Но при такой бескомпромиссно-жёсткой, казалось бы, позиции Мелихов – очередной парадокс? – лишён какой бы то ни было спеси избранничества. Скорее он удивительно демократичен, не отказывая «простому человеку», т. е., будем говорить прямо, человеку малообразованному, человеку толпы во всём высоком, свойственном им же назначенным аристократами: *«...самый что ни на есть простой человек тоже нуждается в том, чтобы ощущать себя причастным чему-то прекрасному и бессмертному. Надо только внушать ему эту мысль уж никак не устрашением, которое способно разве что сменить равнодушие на ненависть. Личное и сверхличное, плебейское и аристократическое могут вполне мирно ужиться друг с другом, и Медный всадник будет не топтать Евгения, но пробуждать в нём гордость за род человеческий и, стало быть, отчасти и за себя. Это, собственно, давно и происходит – стоит посмотреть, как потомки бедного Евгения из Барнаула и Челябинска фотографируются на его фоне. У государства и личности есть общий враг – скука, бессмысленность существования, с которыми справиться одними лишь личными средствами невозможно. Уж очень мы все слабы и мимолётны».*

Есть такая общая беда у рецензентов поэтических книг: ступив на сомнительную тропинку цитирования (а разговор о поэзии без этого практически бессмыслен, поскольку стихи прозаическому пересказу не поддаются), видишь, что уже не ты управляешь текстом, а он тобой, потому что цитировать хочется буквально через слово. С мелиховскими текстами та же проблема: есть ли смысл в пересказе и интерпретации, если уже найдены самые точные слова? *«...как быть, если на все сложнейшие вопросы то и дело слышишь одну и ту же примитивность: финансирование, финансирование, финансирование...»*

Что нужно делать для укрепления семьи? Финансировать! Как тут удержаться, чтобы не добавить: этого мало, необходим ещё и культ материнства, отцовства, продолжения рода, то есть служение неким рационально недоказуемым образам (не хочу произносить слова идеал, чтобы не множить поводы для разногласий). Что нужно сделать для укрепления науки? Финансировать! Как же не добавить, что без культа знания все деньги будут выброшены на ветер? И что без культа воинской доблести людей не заставят рисковать жизнью никакие деньги? Я слышу одни и те же глупости, вот и возражаю примерно одно и то же».

В публицистике Мелихова есть прелестный стилистический секрет: за внешней доступностью изложения (минимум терминов и цитат, только самые необходимые, необыкновенно ясные периоды мысли, никакой наукообразной затемнённости и «барражирования» для набегания объёма, чем грешат тьмы и тьмы публицистов) в самых-рассамых, казалось бы, непритязательных газетных заметках «по поводу» всякий раз скрывается самая настоящая философия высокой пробы. Но является она не в академической тоге и позе с веером модных словес и имён, а в как бы простеньком повседневном платье – не всякий спервоначалу и признает принцессу с её единственно крошечной ножкой в этой Золушке. Но уж раз признавший будет стараться далее не пропустить ни одного мелиховского текста, поскольку читать их – истинное удовольствие. Причём двойное – и мыслительное, и художественное. А вот угнаться за всеми публикациями – задача, говоря уже подзабытым языком вождя мирового пролетариата, архисложная: такое впечатление, что пишет Мелихов не то что непрерывно, а, как индийский бог, сразу всеми шестью руками – не уследишь! Какое бы печатное издание в руки ни попало – опять Мелихов! И опять неожиданно, ярко, интересно!

Человек поверхностный, улавливающий лишь внешние коды интеллектуального мейнстрима, натываясь в каждом мелиховском тексте на методичную последовательность «долбления в одну точку», может принять это за начётническую узость и самоповтор, в то время как человек широко и самостоятельно мыслящий, свободный от шор «группового знания», обнаруживает здесь универсализм мелиховской методики в приложимости к широчайшему ряду проблем. Чаще всего это совершенно конкретные приложения нескольких более или менее универсальных принципов. Если при анализе любого явления, любого конфликта Маркс спрашивает: где здесь корысть? Фрейд: где здесь подавленная сексуальность?, то Мелихов: где здесь красота? В какой воображаемой картине мира действует твой оппонент, осуществляя вечное стремление человека к красоте и бессмертию? По Мелихову, всякое общественное движение, неспособное наделить своих сторонников чувством причастности чему-то прекрасному и бессмертному, обречено на поражение. Обречено на поражение всякое движение, неспособное породить свою аристократию, своих служителей прекрасных химер. Как математик Мелихов давно понял, что рациональности нет в человеческой природе, что всякая логическая доказательность действительна лишь внутри какой-то системы базовых иллюзий, которая работает исключительно на самоподтверждение, она подтасовывает факты и выбирает именно те критерии, с точки зрения которых она и есть единственно верная. Ослабить власть собственных иллюзий, по Мелихову, можно единственным способом – максимально открываясь чужим, отыскивая недостающую часть

истины у противника. Только так и можно хоть отчасти обуздать собственное стремление к простоте, порождающее все разновидности фашизма всех цветов радуги. А есть ли более важная проблема, требующая разрешения, в нашем столь сложном и постоянно дробящемся, несмотря на процессы экономической глобализации, на противостоящие друг другу социальные и этнические страты мире?

Как-то, беря у него очередное интервью (а это, скажу я вам, ещё одно удовольствие – присутствовать при рождении мысли, непредсказуемой и отличающейся «лица необщим выраженьем»), зная о том, сколько времени и сил он тратил и продолжает тратить на всяческие «побочные» активные действия (занятия с суицидентами с течением времени сменились на интенсивную работу с ментальными инвалидами), не удержавшись, спросила: «А силы откуда берёшь?» Мелихов, как о само собой разумеющемся, пожав плечами, ответил: «Силы дарит страсть». Абсолютно справедливый афоризм. Проверьте на себе.

Страсть же, по Мелихову, всегда порождается зачарованностью какой-то грёзой, какой-то сказкой.

А закончить эти небольшие заметки о замечательном писателе, публицисте и философе мне всё-таки хочется его же цитатой, потому что лучше всё равно не скажешь: *«У меня вызывает восхищение способность человека жертвовать собою ради фантомов. Верующего восхищает в человеке искра божьего огня, причастность Богу, но меня еще больше восхищает, что человек, не имея Бога, сам уподобился ему в своей фантазии. Будучи кусочком слизи в равнодушном, ледяном космосе, он создал систему иллюзий и противостоит космосу. Это мужество безумия меня приводит в восторг, и мне ничего другого не нужно. Величие фантазии и готовность служить ей – это оправдывает в моих глазах человеческое существование».*

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Александр Мелихов – прозаик «дедуктивного» склада, то есть он пишет свою прозу, отталкиваясь от концепции, сквозь его текст проступает конструкция, – и это не минус, не плюс, а особое устройство дара. Наверное, не случайно по своей первой профессии он математик. Эту прозу мне интересно читать потому, что она «мыслит», откровенно и принципиально, не стесняясь своего рационализма, иногда как будто пером продирая бумагу – и в таких местах начинает походить на журналистику. Ну и что же, очень хорошо! Писать роман по старинке, с героями, ничего не знающими о своём авторе, можно и нужно, но сегодня это почти никому не удаётся. Герои Мелихова посматривают в сторону своего создателя: ну как, правильно ли они сказали, поступили, доволен ли он ими? А в своей публицистике Александр Мелихов то и дело совершает набег едва ли не в утопическую, а то и фантастическую прозу: его сосредоточенность на «грёзах» превращает статьи в художественный текст. «Духовная аристократия», о создании которой мечтает он, видя в таких «избранниках» спасителей России (я-то думаю, что в «аристократы духа» у нас будут назначать и принимать, как в партию «Единая Россия») напоминает мне «народную идею» у Толстого, «религиозную» у Достоевского. Реальная жизнь опрокидывает и переворачивает писательские прозрения и постройки, но читать – интересно! Тем более, что в исходном своём тезисе Мелихов прав: человек не может жить одними «низкими истинами», ему нужен «возвышающий» его «обман». Не только отдельный человек, но и народы живут иллюзиями. Хорошо, когда эти иллюзии не направлены против других людей и народов. Философы-экзистенциалисты отказывались от иллюзий, заставляли себя смотреть в глаза ужасу и абсурду. Но в этой своей способности смотреть в упор, не отводить гла-

за – находили тот смысл и утешение, которое другие находят в Боге, любви к ближнему, научном прогрессе или музыке...

И вот что ещё удивительно: при всём своем рационализме, Александр Мелихов лиричен и влажен, даже наивен – и это сближает его прозу с поэзией, которая умна, умна, а при этом «чуть-чуть глуповата». Сегодня принято поздравлять именинника «электронными открытками» с пляшущими зайчиками, скачущими лошадками, колышущимися цветами и подобранным по вкусу отправителя поздравительным текстом. Мне же пришло в голову переслать дорогому Саше фетовское четверостишие, заменив в нём одно слово (большой любитель стихов, он легко догадается, какое):

В дымных тучках пурпур розы,
Отблеск янтаря,
И лобзания, и грёзы,
И заря, заря!..

Александр Кушнер

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПИСАТЕЛЬ МЕЛИХОВ

В условной и примитивной моей классификации – исключительно для внутреннего употребления – прозаики делятся на «рисовальщиков» и «мыслителей». Рисовальщики – не обязательно те, кто увлечённо и умело изображают пейзажи и портреты героев, но и все те, кто тонко передают оттенки настроения, атмосферу эпизодов и прочие видимые или хотя бы ощутимые детали. Пластику. Из них выше всего ставлю Бунина. Мне в его «В Париже», в генеральской летней шинели, висевшей «в плакаре», обняв которую, трясясь и растекаясь в рёве, сползает на пол после похорон недолго побывшая генеральшей немолодая влюблённая женщина – мне в этом больше про любовь, чем во всей «Крейцеровой сонате», да простится такое противопоставление... Впрочем, и мыслители хороши по-своему – читаешь и трясешься от бешенства несогласия или от счастья совпадения. Тут, конечно, Ф. М. вне сравнений, в отрыве на несколько кругов. И ведь, главное, без фокусов – персонажи рассуждают, как на публичном диспуте со свободным участием, а не оторвёшься от разговора с любым из Карамазовых...

Александр Мелихов – мой универсальный писатель. Я погружаюсь в любимую «Любовь к отеческим гробам», и картинки вытесняют всё реальное, сегодняшнее из моего зрения, и я вижу ту, давно всеми нами – с несущественными различиями – прожитую жизнь, и так она входит в сердце, как стенокардическая боль... А разбирает общественный темперамент, прошибло на социалку – тут как раз подоспел Сашино письмо с вложенной очердной статьёй, с яростным эссе, с его общественными грёзами, которых он жаждет, как другой публицист желал разрушения Карфагена. И опять всё совпадает – с некоторыми поправками на терминологию и я ведь так думаю, и у меня в печёнках сидят наши вольнодумцы на зарплатах, рубящие отечественный сук, на котором сидят...

Мелихов – редкое явление в прозе. Он ясно видит и отчётливо думает, в то время как обычному автору дай бог приемлемо освоить хотя бы что-то одно. За это, а не только за то, что он мой сердечный приятель, я его очень люблю.

Александр Кабаков

ЖЕЛЕЗНЫЙ ФЕНИКС

Александр Мелихов с виду прост и улыбочив, уступчив в мелочах, но по сути твёрд и непоколебим. Его ум бывшего математика беспощаден, не терпит общеизвестных, отживших истин и признаёт работу только в самых сложных ситуациях. Объясняя нам очередную, доступную лишь ему особенность человеческого существования, доказывая свою новую дерзкую, противоречащую всему прежнему гипотезу, он проявляет такую остроту ума, такую твёрдость и последовательность, что все сложности и тонкости жизни по его команде выстраиваются в очередной бесподобный мелиховский роман, доказывающий именно то, что Мелихов хотел доказать, имея при этом вид абсолютно достоверной, естественно текущей реальности. Второго такого мастера я сейчас не вижу. Писатели чаще пишут то, что получится, не ставя никаких сверхзадач – Мелихов такие сверхзадачи решает каждым своим романом. «Горбатые атланты», «Исповедь еврея», «Роман с проституткой», «Нам целый мир чужбина», «Долина блаженных» – все эти вещи содержат открытия, увиденные и объяснённые только Мелиховым, и никем другим. Никакого соавторства для него не существует – он признаёт лишь работу, которую может сделать только он, и никто больше. Он беспощаден так же и к читателю, не давая ему ни малейшего повода расслабиться, сойти на протоптанную тропу, пролить долгожданную слезу над «скорбной урной», у которой принято проливать слёзы. Нет! Мелихов признаёт лишь свои тропы и свои «урны» и жёстко держит читателя при себе – те, кто ослабже и привык расслабляться, с ним не идут. Расслабленных читателей у нас большинство, и большинство это становится всё больше – но это словно и не смущает Мелихова: его интересуют лишь те герои и читатели, которые с ним.

Мои мольбы, обращённые к Мелихову – чуть опустить планку, иногда разбавлять жёсткое повествование чем-то помягче, попроще, порой действуют на него: в его последних романах появляются пейзажи, необязательные персонажи, дающие ощущение некоторого простора, свободы от чёткого авторского замысла – мне кажется, это делает его вещи доступнее и мягче. Хотя в главном он по-прежнему неумолим. Чего стоит хотя бы такой его тезис: «Чёткая мысль и сильные чувства несовместимы и исключают друг друга!» Вот и пиши тут роман! И поскольку он, несомненно, является поборником чёткой мысли – то откуда же братья сильным чувствам, без которых нет увлекательного чтения? И при всём при том у него выходит роман за романом, и из каждого не вырвешься, пока не разделишь очередную его дерзкую гипотезу и не отпразднуешь вместе с ним победу.

Похоже, только такая работа – на пределе возможного и за его пределами – и интересует Мелихова и только она позволяет автору уже многие десятилетия быть в такой замечательной форме.

Поздравляю, Александр!

Твой Валерий Попов

Во дворе дома, где умер Гоголь, стоит странный памятник этому странному господину: при круговом обходе его слева направо человек, явным образом ехидно смеющийся, с какого-то неуследимого момента начинает едва ль не плакать.

В связи с юбилеем Александра Мелихова почему-то в дурной моей башке одновременно с нашим юбиляром вспоминаются еще двое петербуржцев: помянутый незалежный Яновский и куда более известный всему миру мистер президент Путин. Плохая идея, да? А вы посмотрите, приглядитесь – один лысоват, а другой

лыс, а третий взял их и соединил – не носом, такого носа никогда ни у кого другого не было и не будет, – а тем, что если присмотреться в профиль, то не есть ли Чичиков Наполеон? – он ведь тоже и не так чтобы толст, но и не так чтобы очень тонок. Притом оба костисто-худощавы и по-питерски желтоваты лицом, то есть желчны. Только один желчен на самом деле, а другой – кто его знает. На то он и президент, чтобы никто не знал, что он имеет в виду, поворачиваясь то одним, то другим, то третьим, то четвёртым из своих лиц к Западу, Востоку, Северу и Югу – на все четыре ветра, чтобы никто не догадался, какой ещё сюрприз готовит нам и им великая Россия в лице одного из четырёх лиц своего главы.

Другой же желчен безусловно – и правильно делает. Иначе как жить достойно в эпоху, когда Ходорковского перестали путать с Березовским, один в Лондоне, а другой – кто его знает где, но только не в Лондоне.

Но мы-то об имениннике. Впрочем, зачем ему именины, когда у него и так есть имя.

Мелихов странным образом соединяет в уже очень солидном корпусе своих текстов то, чего вообще не хватает нашей литературе, чтобы не быть провинциальной, окраинной, Украиной в Европе: безрассудное чувство – и трезвый расчёт, никого и ничто, начиная с себя, не щадящую мысль. Безусловный расчёт на читателя – и бескомпромиссное дутьё в свою собственную дуду. Художественную нехудожественность. Он один из немногих, кто спокойно поверяет алгебру гармонией – и не боится, и ничего, обобщается в искусство слова. Его проза не требует мыслей и мыслей, а сама их провоцирует. Его мысль есть именно мысль, и мыслится по законам правильной, а потому и нескудной мысли, а не по понятиям отдельных интеллектуалов, готовых принять за мысль всё, что им хочется так назвать. Корыстная любовь к бескорыстной мысли – вот это Мелихов и есть, и поучимся у него, чтобы интеллигенцией не только слыть, но и быть. Кто сумеет, конечно. Я вот не умею писать сразу столько всего разного и одинаково хорошо и умно, от длинных романов до маленьких, да удаленьких эссе, не жертвуя качеством, а он умеет. И это прекрасно; это не халтура, а маэстрия.

А обязан этим Мелихов одному свойству, описанному Тыняновым в начале «Вазир-Мухтара»: на очень холодном снегу 14-го декабря такого-то года было расстреляно время – и «винные люди» прекратились или видоизменились, как старое бургундское «Пира во время чумы» и «Медного всадника», – а пошло поколение людей уксусного, а не винного брожения. Типа Вазир-Мухтара Грибоеда. Что-то вот такое произошло и с нами не так давно, и именно уксусные люди и есть голос нового времени новых старых людей. Мелихов словно родился уксусным человеком и в эпоху людей винных или невинных, и ждал, когда придёт его время высказаться – вот оно и пришло, когда на его ждал, а то не ждал, но ему – в пору. Это негромкий, но точный голос прозаического Ходасевича.

Мелихов, как и Путин, – такие вот сегодняшние уксусные люди, и у каждого из них это пропечатано на лице; только вот нужны ли народу уксусные президенты? А уксусные писатели необходимы, не так чтобы всем, но и не сказать, чтобы мало кому...

Юбиляр уложился в формат – дожил ровно до шестидесяти. До него это сумел Филипп Филиппович Преображенский. Это говорит о них как о профессионалах, умеющих делать всё точно и укладываться один в формат возраста до знака, другой – распорядиться своим временем так, чтобы не опоздать ко второму акту «Аиды». Всё прочее – литература. В которой место Мелихова – значит. В душах же его друзей значит и его не совсем привычная нежная учтивость, не переходящая в приторность. Его старомодная учтивость сегодня как нельзя более своевременна, она заряжает и его прозу, сообщая ей какое-то почти уже незнакомое благородное послевкусие.

Хэппи бёзди, мистер писатель Саша Мелихов...

*Экскурсовод Юрий Малецкий,
юго-восточная оконечность Северо-Западной Европы, Мюнхенские Белые
Столбы Хаар, отделение 66-е, палата № 6.*

*Редакция журнала «Зарубежные записки» тоже поздравляет замечательного
писателя и любимого своего автора Александра Мелихова, благодарит за сотруд-
ничество с журналом и желает ему счастья – как уж он его понимает.*